

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Василий Жуковский

От автора

На Ваганьковском кладбище старые липы и клены опять покрылись молодой листвой. Сколько помню себя, на Пасху всегда ясное небо, солнце, мягко и ровно освещающее землю и все, что есть на ней.

В душе боль, но этот небесный свет успокаивает, воскрешает в памяти пережитое, и сами собой плывут перед глазами воспоминания — как легкие облака в вышине.

Могила Владимира Высоцкого завалена цветами. Дальше, за Воскресенским собором, я нахожу оградку — здесь лежит Олег Даль. Цветы, крашенные пасхальные яйца, записки, детские игрушки.

Иду по писательской аллее, к тридцать седьмому участку, и еще издали замечаю знакомый белый силуэт надгробного памятника. Будто тоненькая белая свечка, стоит он — скромный и тихий, под клейкими молодыми листьями.

Кирпичная арка, а в ней в образе Андрея Рублева шагнул нам навстречу актер, подаривший миру лицо великого иконописца.

Я зажигаю свечку на могиле старшего брата и думаю не только о нем, но и обо всех его ровесниках, которые ушли из жизни, недолюбив, недосказав всего, что хотели сказать, недоиграв заветной роли.

Рядом с могилой брата покоится могучий Виктор Авдюшко, которому, казалось, жить сто лет.

На Новодевичьем лежит Василий Шукшин, на русском кладбище под Парижем — Андрей Тарковский.

Нет Геннадия Шпаликова, нет Ларисы Шепитько, нет Александра Кайдановского, как нет многих шестидесятников, тех, кто, несмотря ни на что, создавал киноискусство вопреки пошлости и приспособленчеству.

Они ушли потому, что двигались против течения, которое было очень сильным, хотя то время окрестили застойным. А смертельная болезнь была лишь следствием — она, как пуля, настигла их на взлете творческого горения.

Они не хотели и не могли лгать.

Они жили в согласии с совестью.

И заплатили за это самую высокую плату — жизнь.

Теперь я знаю, что боль подобна камню, упавшему в воду. Вода на поверхности успокаивается, а камень так и остается навсегда лежать на дне.

И в то время, когда вода становится гладкой, когда сквозь толщу ее видишь и ход рыб, и движение водорослей, и камни на дне, тогда можно вспоминать, можно разобраться в прошедшем.

К тому же я не один — о старшем брате моем, заслуженном артисте РСФСР Анатолии Солоницыне, будут размышлять и вспоминать те, кто работал с ним и кто хорошо его знал.

Прожил он недолго — 47 лет. А все же немало успел сделать. Есть среди его работ такие, что долго будут жить в истории театра и кино.

Но не только это заставило меня взяться за перо. Его характер был особенным, непохожим на другие. Он таил в себе что-то такое, что останавливало, удивляло, заставляло задуматься — о творчестве, о самой жизни, о вере... О том, как мы стихийно, а потом осознанно шли к Богу.

Именно об этом я и написал.

Остров на Волге

Много у нас было заповедных мест, но ни одно из них не могло сравниться с Зеленым островом. Здесь огород, к которому идешь, как по лесу, — утоптанная тропа ведет, петляя, между высоких ветел, осокорей, зарослей ивняка; здесь рыбалка — с мостков, откуда можно и нырнуть, когда надоест рыбалить, и озерцо, что в середине острова.

А ночевка в шалаше, а костерок, а рассказы отца, а сами сборы на Зеленый — с вечера, потому что уезжали на остров затемно, чтобы успеть на утреннюю зорьку...

На Зеленый ходили три пароходика — «Решительный», «Свобода», «Смелый». Вечные споры: какой пароход будет сегодня? Отец стоял за «Решительного», я предпочитал «Свободу», а Толя — «Смелого».

«Смелый», почти катерок, был самым быстроходным, и то-то сияли глаза брата, когда к пристани подруливал именно «Смелый», а потом бежал по воде, как взыправдашний пароход, и пенная волна закручивалась, как стружка от фуганка... Мы, угнездившись на носу «Смелого», постукивали удочками и напевали:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход...

И сейчас, даже не закрывая глаз, вижу я Зеленый, ощущаю запахи ивняка, прибрежных водорослей, слышу, как неожиданно всплескивает рыба. Никаких дру-

гих звуков нет, солнце встает, по ровной, будто отполированной, поверхности воды скользят на тонких ножках неумомимые водяные пауки. Замерли наши поплавки — из пробок, с белыми перьями...

Раз, раз — и поплавок вдруг ушел под воду, и сердце тоже будто нырнуло, и ты дергаешь удочку на себя, и трепещет, вспыхивая на солнце серебристо-зеленым и розовым, крепкий, тугой окунек.

Однажды совсем не клевало. Ушли с мостков на озерцо. Уже солнце стало палить, уже отец сказал свое привычное: «Довольно рыбки половили, пора и удочки смотать», как Толя выдернул из воды щуку. До этого мы ловили щурят, да и то редко, а тут попалась матерая хищница с гибким и сильным телом. Не знаю, какого размера она была на самом деле, но в памяти осталась громадная рыбина. Она сорвалась с крючка, упала у самой воды. Мы, онемев от удивления, смотрели, как она, ударяясь о землю, высоко подпрыгивает. Каждый раз она могла уйти в воду.

— Держи ее! — опомнившись, крикнул отец, и Толя по-вратарски бросился к щуке и ухватил ее. Но в ту же самую секунду громко вскрикнул — щука больно укусила его за палец.

— Держи, не бойся! — мы с отцом бежали по песку и видели, как Толя опять бросился к щуке, ухватил ее и ударил оземь. И только после этого кинул рыбину в ведро.

У щуки была длинная морда, острые зубы. Глаза круглые, стеклянные. Она никак не хотела смириться, что кто-то, более сильный, победил ее, и время от времени начинала бешено колотить хвостом по стенкам ведра.

На пароходе, когда мы возвращались домой, щука перевернула ведро и вывалилась на палубу.

К нам подходили пассажиры, удивлялись рыбине. Отец объяснял, как она попалась: на крючке оказался малек, щука заглотила его, специально ее не ловили...

Толя смотрел на щуку не с гордостью, а с ненавистью.

— Фашистское отродье, — сказал он.

— Почему? — отец рассмеялся. — Укусила, что ли?

Но дело заключалось не в этом. Видимо, в этой щуке было что-то особенно хищное, жадное и злое, что поразило Толю навсегда.

Когда ему было особенно трудно, когда попадались люди, которые подводили, а иногда и предавали, он вспоминал про щуку и говорил: «Помнишь, глаза-то у щуки какие были? Оловянные. Вот и у этого человека такие глаза. И зубы такие же — мелкие, острые и ядовитые».

Щука запомнилась еще и потому, что отец рассказал историю, связанную с его рождением.

Федор Иванович Солоницын, наш дед, был сельским врачом. Его семья жила в селе Ошминское Тоншаевской волости Костромской губернии (теперь это Тоншаевский район Нижегородской области).

Дед был страстный рыболов и охотник. Однажды, в пору, когда его жена, Прасковья Григорьевна, была беременна, он взял ее с собой на рыбалку: одну побоялся оставить. И вот попалась ему большая щука — она так же, как у Толи, сорвалась с крючка. Прасковья Григорьевна кинулась за щукой, поймала ее, да тут-то родовые схватки и начались...

Дед наш, Федор Иванович, был человеком примечательным. Он совершенно спокойно приезжал в тифозные деревни и лечил крестьян. У него был твердый, властный взгляд — лечил он и гипнозом. Выписывал медицинские журналы из разных стран и за внимание к Нью-

Йоркскому гипнотическому обществу был избран почетным его членом.

В двадцать первом году, когда не было ни медикаментов, ни еды, он заставлял собирать травы, заваривать кору деревьев. Многих он спас, а сам не уберегся — заразился и сорока пяти лет от роду умер.

Отец остался в семье старшим. Было ему пятнадцать лет, но пришлось взять на себя заботу о семерых младших братьях и сестрах. Работал он дорожным рабочим, телефонистом, потом на химзаводе в поселке Вахтан. В шестнадцать лет его избрали «завэкономправом» в комсомоле — то есть он отстаивал экономические и правовые интересы молодежи. А в двадцать лет выбрали председателем завкома химзавода. С этой поры начинается его газетная деятельность: в заводской газете, затем, после окончания коммунистического института журналистики (КИЖ), — на посту редактора районной газеты в городе Богородске. Отца приглашают в «Горьковскую правду», где он работает ответственным секретарем редакции. А потом становится собственным корреспондентом «Известий».

В городе Богородске Горьковской области 30 августа 1934 года родился Анатолий.

Здесь я должен сделать пояснение.

Отец наш в юности своей был человеком романтичным. В те дни, когда имена героев челюскинской эпопеи были у всех на устах, в нашей семье родился первенец. Именем научного руководителя экспедиции Отто Юльевича Шмидта отец решил назвать своего сына. Но, когда началась война, мы, дети военного поколения, иначе стали воспринимать немецкие имена. Вот почему еще в детстве брат переименовал свое имя Отто на Анатолий. И с этим все в нашем доме согласились.

Отец, чья фамилия не раз появлялась на страницах «Известий», в 1964 году получил объемистое письмо от краеведа Горьковской области П. С. Березина. В письме был очерк о нашем предке Захаре Степановиче Солоницыне. Так само собой получилось, что мы узнали об одном из колоритнейших наших пращуров. Хочу рассказать о нем не из-за моды, а потому, что Захар Степанович — личность крайне интересная. А самое главное (как это ни странно может показаться) — судьба его отозвалась в судьбе брата.

Захар Степанович родился во второй половине XVIII века, умер в первой четверти XIX-го. Был он летописцем из починка Зотово Тоншаевской волости Костромской губернии (теперь деревня Зотово находится на территории Нижегородской области). Личность грамотного крестьянина, ставшего летописцем, не может не заинтересовать.

Починок Зотово был основан почти 200 лет назад крестьянином Зотом Безденежных и Захаром Солоницыным. Оба новосела были выходцами из Касинской волости Вятской губернии.

У одного из потомков Захара Солоницына сохранился портрет, написанный масляными красками на крестьянском холсте. С холста смотрит человек, уже поживший, с длинными черными волосами, курчавой бородой, темными глазами. Взгляд испытующ, суров... В руке он держит книгу, там текст:

«Помышляю день страшный и плачу деяний моих лукавых...»

Как я выяснил позже, отыскивая, откуда взята эта строка, оказалось, она из Псалтыря. Псалтырь разбит на кафизмы (разделы), вслед за которыми при богослужении поются тропари (это краткое содержание праздника сего дня).

Искомая строка оказалась в кафизме десятой, в тропаре, идущем за Псалмом 76.

Как пишет П. С. Березин, старшие потомки Захара Степановича утверждали, что портрет написан самим Захаром. Об этом говорил в 1964 году 73-летний праправнук Захара Степановича, колхозник из деревни Тихоновская Константин Николаевич Солоницын. Он передал краеведу несколько разрозненных книг, написанных Захаром Степановичем. Это наставления и поучения в духе христианской морали. Есть у него и книги светского содержания.

Читая их, нельзя не обратить внимание, что автор получил хорошее по тому времени образование в стенах духовного учебного заведения.

В исторических статьях сборника прошлого века «Костромская сторона»^{*} есть неоднократные ссылки на труд Захара Степановича, которого называли «ветлужский летописец». Использовали труд Захара и авторы «Истории Российского государства» (Москва, 1866), книги «Столетие Вятской губернии» (Вятка, 1881), другие историки.

Почему же энергичный исследователь края с незаурядными способностями, образованный человек, обладавший еще и талантом иконописца, не мог найти себе места на родине, а жил в лесной глуши?

П. С. Березин предполагает, что дело тут заключается в товарище Захара Степановича, В. Я. Колокольникове. Учились они в Славяно-греко-латинской семинарии, которая размещалась в стенах Трифонова монастыря. Это было в то время единственное среднее учебное заведение Вятской губернии.

* См.: Костромская сторона. Кострома, 1892. Вып. 2; Описание Костромской губернии. Кострома, 1861.

Колокольников как лучший выпускник учится на медицинском факультете Московского университета, затем в Лейденском, Геттингенском университетах. Этого незаурядного человека по тайному приказу Екатерины II задерживают на границе при возвращении домой, отбирают письма, бумаги и под арестом отправляют в Петербург, в Тайную экспедицию. Среди бумаг Колокольникова вполне могли быть и письма его товарища Захара Солоницына. Вот почему он оказывается в починке Зотово — как подвергнутый наказанию. Вот почему и на своем автопортрете он начертил покаянные строки из Псалтыря.

«Поиски рукописей Захара Степановича Солоницына продолжают, — пишет в своем очерке П. С. Березин. — Продолжается и изучение биографии ветлужского летописца».

И во время учебы, и в первые годы работы ничего этого о своем предке мы не знали. Но к тому времени, когда Анатолий на свой страх и риск собрался ехать в Москву, на первую в своей жизни кинопробу, отец как раз и прислал ему очерк о нашем пращуре, чтобы поддержать сына.

Анатолий никому не рассказывал об этом. Но в последние свои дни, когда мы с ним говорили о самом главном, он сказал:

— Я бы не поехал... Я бы не стал мучить себя... Но я поверил, что играть великого русского иконописца должен именно я. Потому что у кого же из актеров есть такой предок, как Захар Солоницын? Они увидели, что не самолюбие привело меня на съемочную площадку, а что-то другое... Что-то такое, о чем они не знали, а лишь догадывались. Когда они смотрели на меня, ими овладевало беспокойство... И только потом они поняли, что эта роль — моя...